

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



М. Е. Салтыков-Щедрин

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ



Школьная библиотека (Детская литература)

Михаил Салтыков-Щедрин
Господа Головлевы

Издательство «Детская литература»

1875–1880

УДК 882-93-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Салтыков-Щедрин М. Е.

Господа Головлевы / М. Е. Салтыков-Щедрин — Издательство
«Детская литература», 1875–1880 — (Школьная библиотека
(Детская литература))

ISBN 5-08-003998-1

В книгу великого русского сатирика вошел его знаменитый «общественный
роман» «Господа Головлевы».

УДК 882-93-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 5-08-003998-1

© Салтыков-Щедрин М. Е., 1875–1880
© Издательство «Детская
литература», 1875–1880

Содержание

«Общественный роман» М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»	6
Семейный суд	13
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Господа Головлевы

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2002

© Ю. В. Лебедев. Вступительная статья, комментарии, 2002

© В. Бритвин. Иллюстрации, 2002

* * *



М. Е. Салтыков-Щедрин

1826—1889

«Общественный роман» М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»

В самом начале 80-х годов XIX столетия А. Н. Островский, занятый хлопотами о русском театре, был принят во дворце Александром III. Во время этой аудиенции государь поинтересовался, почему в последней пьесе «Красавец-мужчина» он взял *такой* сюжет. Очевидно, его смутило изображение на сцене людей весьма сомнительной нравственности. «Дух времени таков, Ваше Величество», – почтительно, но твердо отвечал драматург.

Дух того времени Н. А. Некрасов так определил в сатирической поэме «Современники»: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Тогда же на страницах некрасовских «Отечественных записок» одновременно с «Бесприданницей» А. Н. Островского М. Е. Салтыков-Щедрин печатал книгу «Убежище Монрепо», в которой с тревогой и растерянностью оценивал новое общественное явление: «В последнее время русское общество выделило из себя нечто на манер буржуазии... В короткий срок эта праздношатающаяся тля успела опутать все наши Палестины; в каждом углу она сосет, точит, разоряет и вдобавок нахальничает»¹; «...Это совсем не тот буржуа, которому удалось неслыханным трудолюбием и пристальным изучением профессии... завоевать себе положение в обществе; это – просто праздный, невежественный и притом ленивейший забулдыга, которому, благодаря слепой случайности, удалось уйти от каторги и затем слопать кишаси вокруг него массы «рохлей», «ротозеев» и «дураков»².

Этот новый «культурный слой», выведенный сатириком под собирательным именем разуваевых, совершенно глух к тому, что принято называть духовными основами жизни. Он равнодушен к литературе и искусству, понятия не имеет о чести, совести и отечестве. «Ему ни «общество», ни «отечество», ни «правда», ни «свобода» – ничто доподлинно не известно! Ему известен только грош...»³ И тем не менее он с успехом плодит себе подобных. Вот уже целая фаланга продажных публицистов и журналистов поет ему осанну фальшивыми до омерзения голосами. «Горе, думается мне, тому граду, в котором и улица и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство! <...>

Горе той стране, в которой шайка шалопаев во все трубы трубит: государство, дорогой мой! – это священо! Наверное, в этой стране государство в скором времени превратится в расхожий пирог! <...>

Интеллигенция! дирижирующие классы!.. «Разуваев, бывший халуй»! Разуваев, заспанный и пахучий, буйный, бесшабашный, безвременно оплывший, с отяжелевшею от винного угара головой и хмельною улыбкою на устах! Подумайте! да он в ту самую минуту, как вы, публицисты, призываете его: иди и володей нами! – даже в эту торжественную минуту он пускает враскос глаза, высматривая, не лежит ли где плохо?

Знает ли он, что такое отечество? слышал ли он когда-нибудь это слово? Ах, это отечество! По-настоящему-то ведь это нестерпимейшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, вконец изводящая человека, – вот какое значение имеет это слово! А Разуваев думает, что это падаль, брошенная на расклевание ему и прочим кровопийственным дел мастерам!»⁴

¹ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. лит., 1972. Т. 13. С. 349.

² Там же. С. 352.

³ Салтыков-Щедрин М. Е. Указ. соч. С. 383.

⁴ Там же. С. 387–389.

В «Дневнике писателя» за 1876–1877 годы Ф. М. Достоевский вслед за Островским, Некрасовым и Салтыковым-Щедриным отмечал появление нового поколения молодых людей – сыновей вчерашних отечественных «столпов»: «Кроме разврата с самых юных лет и самых извращенных понятий о мире, отечестве, чести, долге, богатство ничего не вносило в души этого юношества, плотоядного и наглого. А извращенность мирозерцания была чудовищная, ибо над всем стояло убеждение, преобразившееся для него в аксиому: «Деньгами все куплю, всякую почесть, всякую доблесть, всякого подкуплю и от всего откуплюсь»⁵.

Так писал Достоевский, и ему вторил Некрасов:

Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона.

Бредит Америкой Русь,
К ней тяготея сердечно...
Шуйско-Ивановский гусь —
Американец?.. Конечно!

Что ни попало – тащат,
«Наш идеал, – говорят, —
Заатлантический брат:
Бог его – тоже ведь доллар!...»

Правда! Но разница в том:
Бог его – доллар, добытый трудом,
А не украденный доллар!⁶

Появление на русской исторической сцене нового общественного типа русского буржуа заставило Салтыкова-Щедрина существенно пересмотреть приемы сатирического обобщения, выработанные на почве знакомого ему старого бюрократического уклада русской жизни. Новый тип требовал и новых форм художественного изображения. Сатирическая гипербола, гротеск и фантастика, с блеском примененные в «Истории одного города», оказались бессильными перед только что народившимся общественным явлением, нуждавшимся в пристальном взглядывании в него, в тщательном художественном анализе.

В творчестве Салтыкова-Щедрина с начала 1870-х годов появляются новые формы проникновения во внутренний мир человека. Но этот психологический анализ существенно отличается от толстовской «диалектики души». Если Толстого интересует в человеке индивидуально-неповторимое качество внутреннего мира, то Салтыков-Щедрин обращает внимание на общетиповое, общехарактерное в психологии своих героев. Он становится исследователем общественной психологии целых групп, каст, сословий, его интересуют в первую очередь глубокие перемены во внутреннем мире людей, обусловленные изменяющейся общественной ситуацией, драматическим переходом России от старых, патриархально-дворянских к новым, буржуазным общественным отношениям. Изменяется в эти годы и жанровый состав сатирической прозы писателя.

⁵ Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 23. С. 158.

⁶ Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем. В 15 т. Л.: Наука, 1982. Т. 4. С. 241.

В конце 1860 – начале 1870-х годов Салтыков-Щедрин в ряде своих критических работ утверждает необходимость появления в русской литературе нового, «общественного» романа. Он считает, что старый – любовный роман исчерпал себя. В современном обществе истинно драматические конфликты обнаруживаются не в любовной сфере, а в «борьбе за существование», в «борьбе за неудовлетворенное самолюбие», «за оскорбленное и униженное человечество».

Эти новые, более широкие общественные вопросы настойчиво стучатся в двери литературы. «Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте – везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма началась среди уютной обстановки семейства, а кончилась... получением прекрасного места, Сибирью и т. п.». По мнению Салтыкова-Щедрина, «разрабатывать помещичьи любовные дела сделалось немислимым, да и читатель стал уже не тот. Он требует, чтоб ему подали земского деятеля, нигилиста, мирового судью, а пожалуй, даже и губернатора»⁷. Если в старом романе на первом плане стояли вопросы психологические, то в новом – «вопросы общественные». К «общественному» роману Салтыков-Щедрин вплотную подошел в «Господах Головлевых».

Примечательна с этой точки зрения творческая история романа-хроники. Сперва он включался отдельными очерками в цикл «Благонамеренные речи», в котором писатель обратился к изображению нарождающейся пореформенной буржуазии. Становление русской буржуазности совершалось под покровом лживых благонамеренных речей о неизбежности и святости национальных устоев – семьи, собственности и государства. И вот Салтыков-Щедрин, по его словам, «обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет». Сокровенный смысл благонамеренных речей, произносимых во имя этих принципов, сатирик назвал «наглым панегириком мошенничеству». Охранитель современных устоев общества лжет без зазрения совести. «Он лжет искренно, без всякой для себя пользы и почти всегда со слезами на глазах, и вот это-то именно и составляет главную опасность его лжи, – опасность, к сожалению, весьма немногими замечаемую...»

Когда в 1875 году И. С. Тургенев прочел в «Отечественных записках» очерк «Семейный суд», входивший в цикл «Благонамеренные речи» и ставший впоследствии первой главой романа «Господа Головлевы», он написал сатирику: «Я вчера получил окт<ябрьский> номер – и, разумеется, тотчас прочел «Семейный суд», которым остался чрезвычайно доволен. Фигуры все нарисованы сильно и верно: я уже не говорю о фигуре матери, которая типична – и не в первый раз появляется у Вас – она, очевидно, взята живьем – из действительной жизни. Но особенно хороша фигура спившегося и потерянного «балбеса». Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением?»⁸ Однако писатель к этому совету прислушался не сразу. Он включал в цикл и последующие очерки из хроники семейства Головлевых, за исключением последнего, написанного в 1880 году, когда писатель почувствовал, что очерки действительно складываются в роман и могут быть вычленены из цикла «Благонамеренные речи».

Творческая история романа подтверждает, таким образом, его широкие связи с той общественной атмосферой пореформенного времени, которая оказалась предметом пристального внимания сатирика. Ограничивая действие историей семейства Головлевых, Салтыков-Щедрин придал семейной теме своего романа эпическое звучание. Семья для него – фундамент общественного здания, первооснова национального организма. Семейное неблагополучие, распад семьи – симптом общественного неблагополучия, общественного разложения

⁷ Салтыков-Щедрин М. Е. Указ, соч., 1970. Т. 9. С. 440.

⁸ Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1966. Т. 11. С. 149.

и распада. Такой поворот семейной теме одновременно с Салтыковым-Щедриным дали в 1870-е годы Л. Н. Толстой в «Анне Карениной», Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» – именно семейная тема позволила им раскрыть глубинные причины тяжелой социальной болезни, охватившей все русское общество.

Головлевы у Салтыкова-Щедрина не похожи на патриархальных дворян. Это люди с иной, буржуазно-потребительской психологией, которая движет всеми их мыслями и поступками. Теме дворянского оскудения, очень популярной в то время, писатель дает новый, неожиданный поворот. Его современники обращали внимание на экономическое разорение пореформенных дворянских гнезд. Салтыков делает акцент на другом: господа Головлевы легко приспособились к новым порядкам и не только не разоряются, а стремительно богатеют. Но по мере их материального преуспевания в собственнической душе совершается страшный процесс внутреннего опустошения, который и интересует сатирика прежде всего. Шаг за шагом отслеживает он этапы духовного разложения всех своих героев, и в первую очередь – Порфирия Головлева, судьба которого находится в центре романа.

Главному герою писатель неспроста дает кличку Иудушка, вызывающую прямые ассоциации с Иудой Искаротом, предавшим Иисуса Христа за тридцать сребреников. Он получает такую кличку за постоянное надругательство над словом. Салтыков-Щедрин – христианин и просветитель, верящий в божественную природу и божественную силу человеческого слова.

Слово в его понимании – Божий дар человеку. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст. 1–5).

Весь колорит романа «Господа Головлевы» окрашен в серые, пасмурные тона, и по мере движения сюжета к финалу сумерки в нем сгущаются, а действие прерывается в глухую, темную, метельную мартовскую ночь. Этот темный фон – отражение главной художественной мысли писателя. Смысл жизни господ Головлевых – надругательство над святыней, данной Богом человеку, над светоносной, духовной природой Слова. Атмосфера всеобщей лжи особенно тяжело переживалась человеком, для которого Слово было Богом. «Как ни страстно привязан я к литературе, однако должен сознаться, что по временам эта привязанность подвергается очень решительным испытаниям, – с горечью писал сатирик во время работы над романом. – Когда прекращается вера в чудеса – тогда и самые чудеса как бы умолкают. Когда утрачивается вера в животворящие свойства слова, то можно почти с уверенностью сказать, что и значение этого слова умалено до металла звенящего. И кажется, что именно до этого мы и дошли»⁹. Лживое обращение человека со словом Салтыков-Щедрин приравнивал к самому злостному богохульству.

Роман «Господа Головлевы» – не столько объективное отражение общественной ситуации 1870-х годов, сколько пророческое предупреждение писателя: надругательство над Словом не проходит безнаказанно. Кто такой Иудушка Головлев? По характеристике известного исследователя А. С. Бушмина, это прежде всего «хищник, эксплуататор, стяжатель и деспот. Однако его хищные вожелания, его кровопийственные махинации далеко не сразу бросаются в глаза и распознаются не легко, они всегда глубоко спрятаны, замаскированы сладеньким пустословием и выражением преданности и почтительности к тем, кого он наметил в качестве своей жертвы. Его внешнее поведение обманчиво. Мать, братья, сыновья, все, кто соприкасается с Иудушкой, чувствовали, что его «добродушное» празднословие страшно своим неуловимым коварством. Он бесконечно лжет и тут же клятвенно заявляет себя поборником правды. Забрасывая петлю, он тут же ласково лебезит перед своей жертвой. Высасывая кровь из мужика, он прикидывается его благодетелем. Он самый отъявленный мошенник, плут и

⁹ Салтыков-Щедрин М. Е. Указ, соч., 1972. Т. 13. С.535.

сутяга, но в речах он бескорыстнейший правдолюбец. Он разжигает междоусобицы в семье, но на словах он миротворец. Он в самых почтительных выражениях изъясляет сыновнюю преданность и тут же объегоривает и тиранит мать и обрекает ее на заброшенность, одиночество и смерть. Он прикидывается любящим братом и отцом и с садистским наслаждением споспешествует гибели братьев и сыновей. Он ласково, «по-родственному» лебезит и в то же самое время предательствует. Одним словом, это опаснейший словоточивый лицемер, у которого расхождение между словом и скрытой мыслью, между речами и поступками дошло до чудовищных размеров и стало неистребимым, органическим свойством всего нравственного облика»¹⁰.

Салтыков-Щедрин специально подчеркивает глубокое отличие пустословия Иудушки от лицемерия, свойственного классическому типу западноевропейского буржуа. «Не над о думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях».

Если европейский буржуа использует лицемерие расчетливо и сознательно, то Иудушка лицемерит бессознательно: он и впрямь считает себя поборником правды, лжет на каждом шагу и сам не знает, лжет или говорит правду. Ему кажется, что все творимые им пакости оправданы религией, Священным писанием, гражданскими законами. Он боится черта, Бог для него — авторитет. А потому Иудушка «не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов».

Тема духовного омертвления человеческой души связывает роман Салтыкова-Щедрина с «Мертвыми душами» Гоголя. Однако между ними есть одно существенное отличие. У Гоголя представлены уже готовые, сложившиеся характеры помещиков с пустыми душами, омертвевшими на разный манер. Салтыков-Щедрин, как писатель второй половины XIX века, изображает жизнь в непрестанном и стремительном изменении. Он показывает читателю сам процесс умирания, испепеления, превращения в прах Иудушкиной души. Его пустословие не стоит на месте, а постоянно меняется, и эти перемены говорят не только о преступлениях героя, но и о неотвратимом наказании, которое, как Божья кара, надвигается и разрешается в финале романа.

Язык, призванный быть средством общения и молитвенного предстояния перед святыней, у Иудушки используется как средство обмана и одурачивания своих жертв. Вся жизнь его — сплошное надругательство над словом. Уже в детстве в ласковых словах Иудушки Арина Петровна чувствовала что-то зловещее: говорит он ласково, а взглядом словно петлю накидывает. И действительно, елейные речи героя не бескорыстны: внутренний их источник — инстинктивное стремление к личной выгоде, желание урвать у «милого друга маменьки» самый лакомый кусок.

По мере того как богатеет Иудушка, изменяется и его пустословие. Из *медоточивого* в детстве и юности оно превращается в *тиранствующее*. Подобно злому пауку, Иудушка в главе «По-родственному» испытывает наслаждение при виде того, как в паутине его липких слов задыхается и отдает Богу душу очередная жертва — больной брат Павел.

Но вот герой добивается того, к чему стремился. Он становится единственным и безраздельным хозяином головлевских богатств. Теперь его пустословие из тиранствующего превращается в *охранительное*. Привычными словоизвержениями герой отгораживает себя от жизни, отговаривается от «посягательств» родного сына Петра. Истерическая мольба сына о помощи и спасении глушится и отталкивается отцовским охранительным пустословием.

¹⁰ Бушмин А. С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.: Л., 1959. С. 175.

Наступает момент, когда никакое, даже самое тяжелое горе не в состоянии пробить брешь в нещадном словоблудии Иудушки. «Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир в его глазах есть гроб, могущий служить лишь поводом для его пустословия». Иудушка настолько привык лгать, ложь так срослась с его душой, что пустое слово берет в плен всего героя, делает его своим рабом. Он занимается *празднословием* без всякой цели, любой пустяк становится поводом для нудной словесной болтовни. Подадут, например, к чаю хлеб. Иудушка начинает разглагольствовать, что «хлеб бывает разный: видимый, который мы едим и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы вкушаем и тем стяжаем себе душу...».

Празднословие отталкивает от Иудушки последних близких ему людей, он остается один, и на этом этапе его существования празднословие переходит в новое качество: оно сменяется *праздномыслием*. Иудушка запирается в своем кабинете и тиранит воображаемые жертвы, отнимает последние куски у обездоленных мужиков. Но теперь это не более чем пустая игра развращенной, умирающей, истлевающей в прах души. Запой пустомыслил окончательно разлагает его личность. Человек становится фальшивкой, рабом обмана. Как паук, он запутывается в собственной липкой паутине праздных слов, пустых мыслей. Надругательство Иудушки над словом оборачивается теперь надругательством пустого, обманного слова над душою Иудушки. «Ведь слово-то, – писал Щедрин, – дар Божий – неужто же так-таки и затоптать его? Ведь оно задушить может...»¹¹

Наступает последний этап – предел падения: запой праздномыслия сменяется пьянством. Казалось бы, на этом уже чисто физическом разложении героя Щедрин и должен был поставить точку. Но он ее не поставил. Писатель верил, что именно на последней ступени падения жизнь мстит поругателю святынь, и не сам по себе умирает такой разложившийся человек – совесть просыпается в нем, но лишь для того, чтобы своим огненным мечом убить, покарать его.

На исходе Страстной недели, во время слушания в церкви двенадцати Евангелий о страданиях Иисуса Христа, вдруг что-то живое и жгучее просыпается в душе Иудушки. До него неожиданно доходит истинный смысл высоких божественных слов. «Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирович некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь.

На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирович шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата.

На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина». Покаянный порыв Иудушки не получил полного удовлетворения: совесть убила его на пути к могиле матери, до которой ему дойти было не суждено.

Именно в совесть, заложенную в сердце каждого человека, верит Салтыков-Щедрин как в последнее прибежище спасения от повсеместной и бесстыдной лжи, ставшей особой приметой пореформенного времени. «Я говорю о стыде, все о стыде и желал бы напоминать о стыде всечасно. По-моему, это главное, – писал Салтыков-Щедрин во время работы над романом «Господа Головлевы». – Как скоро в обществе пробужден стыд, так немедленно является потребность действовать и поступать так, чтоб не было стыдно. <...> Стыд есть драгоценней-

¹¹ Салтыков-Щедрин М. Е. Указ, соч., 1972. Т. 14. С. 239.

шая способность человека ставить свои поступки в соответствии с требованиями той высшей совести, которая завещана историей человечества. И рабство тогда только исчезнет из сердца человека, когда он почувствует себя охваченным стыдом. Стыдом всего, что ни происходит окрест: и слез, и смеха, и стонов, и ликований. Ни к чему нельзя прикоснуться, ни о чем помыслить без краски стыда»¹².

Несмотря на все сомнения и противоречия, неизменной оставалась вера Салтыкова-Щедрина в свой народ и в свою историю. «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России, – писал Щедрин. – Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомяну минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России»¹³. Эти слова можно считать эпиграфом ко всему творчеству сатирика, гнев и презрение которого рождались из суровой и требовательной любви к Родине, из выстраданной веры в ее творческие силы, одним из ярчайших проявлений которых была русская литература.

Ю. В. Лебедев

¹² Салтыков-Щедрин М.Е. Указ, соч., 1972. Т. 13. С. 640.

¹³ Там же. С. 334.

Семейный суд

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить.

Арина Петровна, которая насковзь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

– Что еще? – спросила она, смотря на бурмистра в упор.

– Все-с, – попробовал было отвитьнуть Антон Васильев.

– Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

– Сказывай, какое еще дело за тобой есть? – решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна. – Говори! не виляй хвостом... сумá перемётная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала «перемётной сумой» не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

– Есть, действительно... – пробормотал наконец Антон Васильев.

– Что? что такое? – взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

– Степан Владимырьч дом-то в Москве продали... – доложил бурмистр с расстановкой.

– Ну?

– Продали-с.

– Почему? как? не мни! сказывай!

– За долги... так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать не станут.

– Стало быть, полиция продала? суд?

– Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимырьч кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось, – и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не приметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, завидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опамятавалась и произнесла:

– Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозного молчания.

– Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? – переспросила она.

– Так точно.

– Это – родительское-то благословение! Хорош... мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому что мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось: «Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала! чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продала за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом, два года тому назад, собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за восемь тысяч с аукциона приобрести!» С другой стороны, приходило на мысль и то: «Полиция за восемь тысяч продала! Это – родительское-то благословение! Мерзавец! за восемь тысяч родительское благословение спустил!»

– От кого слышал? – спросила наконец она, окончательно остановившись на мысли, что дом уж продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда.

– Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

– А почему он вовремя меня не предупредил?

– Поопасился, стало быть.

– Поопасился! вот я ему покажу: «поопасился»! Вызвать его из Москвы, и как явится – сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! «Поопасился»!

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «сума перемётная» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум – и вдруг его в солдаты, ради того только, что он, Антон Васильев, как сума перемётная, не сумел язык за зубами попридержать!

– Простите... Ивана-то Михайлыча! – заступился было он.

– Ступай... потатчик! – прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова.

Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

* * *

Арина Петровна – женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно; единолично и бесконтрольно управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупое, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от детей требует, чтоб они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: что-то об этом маменька скажет? Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее – человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно говорит об себе, что она – ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в Петербурге, частью – пошли в отца и в качестве «постылых» не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово «семья» не сходит с ее языка и по наружности всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлович Головлев, еще смолodu был известен своим безалаберным и озорным характером и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и занимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч, собственно, для того и женился, чтоб иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились со стороны жены полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа – искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусости. Муж называл жену «ведьмою» и «чертом», жена называла мужа – «ветряною мельницей» и «бесструнной балалайкой». Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили барину ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского имения, и действительно в течение сорокалетней супружеской жизни успела удесятить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекуному совету и всегда как снег на голову являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальни, то единственно для того, чтоб просунуть голову в полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «Черт!» – и опять скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась.

Степан Владимирович, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери – способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери.

Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось «ведьме», то есть Арине Петровне. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избие-ние Степка-бал-беса. Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.

– Убить тебя надо! – постоянно твердила ему Арина Петровна, – убью – и не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, покладливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лет Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а, взамен того, гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванию; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и *rique-assiette*¹⁴ и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он, естественно, тяготел все ниже и ниже, так что к концу четвертого курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила: «Дивлюсь!» Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям; протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом – никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «Я зараньше в сем была уверена» и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете излюбленных крестьян, было решено определить Степку-балбеса в надворный суд, поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимыч в надворном суде – неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и «родительское благословение». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

¹⁴ Прихлебателя, паразита (фр.).

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маеньки ручку («то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!») – молвила при этом Арина Петровна и обещал оправдать оказанную ему милость. Но, увы! он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить в качестве заместителя в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на ногах – сапоги навыпуск и в кармане – сто рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и невдолге проиграл всё. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но наконец наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь – в Головлево.



После Степана Владимирыча старшим членом головлевского семейства была дочь Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в чаянье сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка в одну прекрасную ночь бежала из Головлева с корнетом Улановым и повенчалась с ним.

– Так, без родительского благословения, как собаки, и повенчались! – сетовала по этому случаю Арина Петровна. – Да хорошо еще, что кругом налоя-то муженек обвел! Другой бы попользовался – да и был таков! Ищи его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с постылым сыном: взяла и «выбросила ей кусок». Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упалою усадьбой, в которой изо всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была приютить круглых сирот у себя. Что она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

– У Бога милостей много, – говорила она при этом, – сиротки хлеба не Бог знает что съедят, а мне на старости лет – утешение! Одну дочку Бог взял – двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимирычу: «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков...»

Вообще, как ни циничным может показаться это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло «выбрасывание кусков», не только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил и, раз «выбросивши кусок», уже считала поконченными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. Причем говорила:

– Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да уходом стоят – ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, Бог мне заплатит!

Наконец, младшие дети, Порфирий и Павел Владимирычи, находились на службе в Петербурге: первый – по гражданской части, второй – по военной. Порфирий был женат, Павел – холостой.

Порфирий Владимирыч известен был в семействе под тремя именами: Иудушки, кровопишушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваньям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность.

«И сама понять не могу, что у него за глаза такие, – рассуждала она иногда сама с собою, – взглянет – ну словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!»

И припомнились ей при этом многозначительные подробности того времени, когда она еще была «тяжела» Порфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли Порфишей-блаженненьким и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды и кого-то Бог даст ей, сына или дочь, – ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед за тем пробормотал:

– Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит; наседка – кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно – три раза-то прокричал!) она родила сына (вот оно – петушок-петушок!), которого и называли Порфирием, в честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: «наседка – кудах-тах-тах, да поздно будет»? – вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна,

взглядывая из-под руки на Порфишу, откуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность – и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: «Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как ни сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимычем представлял брат его, Павел Владимыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком, он не выказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Представляется ему, что он толокна наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или – что он не Павел – дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла болона, как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит-поглядит, бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце.

– Ты что как мышь на крупу надулся! – не утерпит, прикрикнет она на него, – или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери подойти: маменька, мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свой угол и медленными шагами, словно его в спину толкали, приближался к матери.

– Маменька, мол, – повторял он каким-то неестественным для ребенка басом, – приласкайте меня, душенька!

– Пошел с моих глаз... тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-прожекты как на ладони вижу!

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой в конечном результате получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и неглуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слышали, чтоб кто-нибудь сказал: «Как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев!» В довершение всего он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее как огня. Повторяю: это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков – и ничего больше.

В зрелом возрасте различие характеров обоих братьев всего резче высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. «Деньги, столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил, – уведомлял, например, Порфирий Владимыч, – а за присылку оных,

для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерною сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я...» и т. д. А Павел по тому же поводу выражался: «Деньги, столько-то на такой-то срок, дражайшая родительница, получил, и, по моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить». Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся этим замечаниям и писал: «Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений и, что всего хуже, по свойственному человеку заблуждению, даже забываем о сем, в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег осмотнительным». А Павел отвечал так: «Дражайшая родительница! хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны оба брата отозвались различно. Порфирий Владимырьч писал: «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбью, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае убежище – это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же писал: «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что Всевышний успокоит ее в Своих сеньях, хотя сие и неизвестно».

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимыряча, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

– Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! – восклицала она. – Недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного нет! все-то он лжет! и «милый дружок маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!

Потом примется за письмо Павла Владимыряча, и опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей.

– Глуп-глуп, а смотри, как исподтишка мать козыряет! «В чем и прошу чувствительнейше принять уверение...», милости просим! Вот я тебе покажу, что значит «чувствительнейше принимать уверение»! Выброшу тебе кусок, как Степке-балбесу, – вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои «уверения»!

И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль:

– И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей недосыпаю, куска недоедаю... для кого?!

Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой-балбесом «выброшенного куска», который, ввиду дешевой его продажи, получал уже сугубое значение «родительского благословения».

* * *

Арина Петровна сидела в спальней и не могла прийти в себя. Что-то такое шевелилось у нее внутри, в чем она не могла отдать себе ясного отчета. Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки сыну, или говорило одно нагое чувство оскорбленного самовластия – этого не мог бы определить самый опытный психолог: до такой степени перепутывались и быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец из общей массы накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что «постылый» опять сядет ей на шею.

«Анютка щенков своих навязала, да вот еще балбес...» – рассчитывала она мысленно.

Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась; пришли сказать: барину водки пожалуйте! – она не глядя швырнула ключ от кладовой. После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки, которые несомненно доказывали, что барыня «гневается», и потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках; ключница Акулина совалась как помещанная: назначено было после обеда варенье варить, и вот пришло время, ягоды вычищены, готовы, а от барыни ни приказа, ни отказа нет; садовник Матвей пришел было с вопросом, не пора ли персики обирать, но в девичьей так на него цыкнули, что он немедленно отретировался.

Помолившись Богу и вымывшись в баньке, Арина Петровна почувствовала себя несколько умиротворенною и вновь потребовала Антона Васильева к ответу.

– Ну, а что ж балбес делает? – спросила она.

– Москва велика – и в год ее всю не исходить!

– Да ведь, чай, пить, есть надо?

– Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедуют, у кого на табак гривенничек выпросят.

– А кто позволил давать?

– Помилуйте, сударыня! Мужички разве обижаются! Чужим неимущим подают, а уж своим господам отказать!

– Вот я им ужо... подавалыщикам! Сошлю балбеса к тебе в вотчину, и содержите его всем обществом на свой счет!

– Вся ваша власть, сударыня.

– Что? что ты такое сказал?

– Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим!

– То-то... прокормим! ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище «перемётной суммы». Он не вытерпывает и вновь начинает топтаться на месте, сгорая желанием нечто доложить.

– Да еще какой прокурат! – наконец произносит он. – Сказывают, как из похода-то воротился, сто рублей денег с собой принес. Не велики деньги сто рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно...

– Ну?

– Поправиться, вишь, полагал, в аферу пустился...

– Говори, не мни!

– В немецкое, чу, собрание свез. Думал дурака найти в карты обыграть, ан, вместо того, сам на умного попался. Он было и наутек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было денег – всё обрали!

– Чай, и бокам досталось?

– Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайлычу, да сам же и рассказывает. И даже удивительно это: смеется... веселый! словно бы его по головке погладили!

– Ништо ему! лишь бы ко мне на глаза не показывался!

– А надо полагать, что так будет.

– Что ты! да я его на порог к себе не пушу!

– Не иначе, что так будет! – повторяет Антон Васильев, – и Иван Михайлыч сказывал, что он проговаривался: «Шабаш! – говорит, – пойду к старухе хлеб всухомятку есть!» Да ему, сударыня, коли по правде сказать, и деваться-то, кроме здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве не находится. Одежа тоже нужна, покой...

Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна, это-то именно и составляло суть того неясного представления, которое бессознательно тревожило ее. «Да, он явится, ему некуда больше идти – этого не миновать!» Он будет здесь, вечно у нее на глазах, клятой, постылый, забытый! Для чего же она выбросила ему в то время «кусок»? Она думала, что, получивши «что следует», он канул в вечность – а он возрождается! Он придет, будет требовать, будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на всякое буйство. «Его» не спрячешь под замок; «он» способен и при чужих явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им вся сокровенная головлевских дел. Сослать его разве в Суздаль-монастырь? Но кто ж его знает, полно, есть ли еще этот Суздаль-монастырь, и в самом ли деле он для того существует, чтоб освобождать огорченных родителей от лицемерия строптивых детей? Сказывают еще, что смиренный дом есть... да ведь смиренный дом – ну как ты его туда, этого сорокалетнего жеребца, приведешь? Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Степки-балбеса.

– Я его к тебе в вотчину пришлю! корми на свой счет! – пригрозила она бурмистру, – не на вотчинный счет, а на собственный свой!

– За что так, сударыня?

– А за то, что не каркай. Кра! кра! «не иначе, что так будет»... пошел с моих глаз долой... ворона!

Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь остановила его.

– Стой! погоди! так это верно, что он в Головлево лыжи наострил? – спросила она.

– Стану ли я, сударыня, лгать! Верно говорил: к старухе пойду хлеб всухомятку есть!

– Вот я ему покажу уж, какой для него у старухи хлеб припасён!

– Да что, сударыня, недолго он у вас наживет!

– А что такое?

– Да кашляет очень сильно... за левую грудь все хватается... Не заживется!

– Этакие-то, любезный, еще дольше живут! и нас всех переживет! Кашляет да кашляет – что ему, жеребцу долговязому, делается! Ну, датам посмотрим. Ступай теперь: мне нужно распоряжение сделать.

Весь вечер Арина Петровна думала и наконец-таки надумала: созвать семейный совет для решения балбесовой участи. Подобные конституционные замашки не были в ее нравах, но на этот раз она решилась отступить от преданий самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий добрых людей. В исходе предстоящего совещания она, впрочем, не сомневалась и потому с легким духом села за письма, которыми предписывалось Порфирию и Павлу Владимирычам немедленно прибыть в Головлево.

* * *

Покуда все это происходило, виновник кутерьмы, Степка-балбес, уж подвигался из Москвы по направлению к Головлеву. Он сел в Москве, у Рогожской, в один из так называемых «дележанов», в которых в былое время езжали, да и теперь еще кой-где ездят, мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место в побывку. «Дележан» ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлыч вез на свой счет Степана Владимирыча, взявши для него место и уплачивая за его харчи в продолжение всей дороги.

– Так уж вы, Степан Владимирыч, так и сделайте: на поворотке слезьте да пешком, как есть в костюме, – так и отъядетесь к маменьке! – условливался с ним Иван Михайлыч.

– Так, так, так! – подтверждал и Степан Владимирыч. – Много ли от поворотки – пятнадцать верст пешком пройти! мигом отхватаю! В пыли, в навозе – так и явлюсь!

– Увидит маменька в костюме-то – может, и пожалеет!

– Пожалеет! как не пожалеть! Мать – ведь она старуха добрая!

Степану Головлеву нет еще сорока лет, но по наружности ему никак нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нем никакого признака дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда-то в университете и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это – чрезмерно длинный, нечесаный, почти невымытый малый, худой от недостатка питания, с впалою грудью, с длинными, заgreбистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, с сильною проседью, голос громкий, но силый, простуженный, глаза навывкате и воспаленные, частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру. На нем ветхая и совершенно затасканная серая ополченка, галуны с которой содраны и проданы на выжигу, на ногах – стоптанные, порыжелые и заплатанные сапоги навывпуск; из-за распахнутой ополченки виднеется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей, – рубашка, которую он с истинно ополченским цинизмом сам называет «блошницею». Смотрит он исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость не выражает внутреннего недовольства, а есть следствие какого-то смутного беспокойства, что вот-вот еще минута, и он, как червяк, подохнет с голоду.



Говорит он без умолку, без связи перескакивая с одного предмета на другой; говорит и тогда, когда Иван Михайлыч слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. В «дележане» поместилось четыре человека, а потому приходится сидеть скрючивши ноги, что уже на протяжении трех-четырёх верст производит невыносимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит. Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки; по временам заползают туда косые лучи солнца и вдруг, словно полымем, обожгут всю внутренность «дележана» – а он все говорит.

– Да, брат, тяпнул-таки я на своем веку горя, – рассказывает он, – пора и на боковую! Не объем же ведь я ее, а куса-то хлеба, чай, как не найтись! Ты как, Иван Михайлыч, об этом думаешь?

– У маменьки вашей много кусков!

– Только не про меня – так, что ли, ты хочешь сказать? Да, дружище, деньжищ у нее – целая прорва, а для меня пятака медного жаль! И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела! За что? ну, да теперь, брат, шалишь! с меня взятки-то гладки, я и за горло возьму! Выгнать меня вздумает – не пойду! Есть не даст – сам возьму! Я, брат, отечеству послужил – теперь мне всякий помочь обязан! Одного боюсь: табаку не будет давать – скверность!

– Да, уж с табачком, видно, проститься придется!

– Так я бурмистра за бока! может лысый черт и подарить барину!

– Подарить отчего не подарить! А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит?

– Ну, тогда я уж совсем мат; только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия – это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по четвертке Жукова выкуривал!

– Вот и с водочкой тоже проститься придется!

– Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна— мокроту разбивает. Мы, брат, как походом под Севастополь шли – еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло!

– Чай, очунели?

– Не помню. Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел, а хоть убей – ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли, и городами шли, да еще, что в Туле откупщик нам речь говорил. Прослезился, подлец! Да, тяпнула-таки в ту пору горя наша матушка-Русь православная! Откупщики, подрядчики, приемщики – как только Бог спас!

– А вот маменьке вашей так и тут барышок вышел. Из нашей вотчины больше половины ратников домой не вернулось, так за каждого, сказывают, зачетную рекрутскую квитанцию нынче выдать велят. Ан она, квитанция-то, в казне с лишком четыреста стоит.

– Да, брат, у нас мать – умница! Ей бы министром следовало быть, а не в Головлеве пенки с варенья снимать! Знаешь ли что! Несправедлива она ко мне была, обидела она меня, – а я ее уважаю! Умна, как черт, – вот что главное! Кабы не она – что бы мы теперь были? Были бы при одном Головлеве – сто одна душа с половиной! А она – посмотри, какую чертову пропасть она накупила!

– Будут ваши братцы при капитале!

– Будут. Вот я так ни при чем останусь – это верно! Да, вылетел, брат, я в трубу! А братья будут богаты, особливо Кровопивушка. Этот без мыла в душу влезет. А впрочем, он ее, старую ведьму, со временем порешит; он и именье и капитал из нее высосет – я на эти дела провидец! Вот Павел-брат – тот душа человек! он мне табаку потихоньку пришлет – вот увидишь! Как приеду в Головлево – сейчас ему цидулу: так и так, брат любезный, успокой! Э-э-эх, эхма! вот кабы я богат был!

– Что ж бы вы сделали?

– Во-первых, сейчас бы тебя озолотил...

– Меня зачем же! Вы об себе, а я и так, по милости вашей маменьки, доволен.

– Ну, нет – это, брат, аттанде! я бы тебя главнокомандующим надо всеми именьями сделал! Да, друг, накормил, обогрел ты служивого – спасибо тебе! Как бы не ты, понтировал бы я теперь пешедралом до дома предков моих! И вольную бы тебе сейчас в зубы, и все бы перед тобой мои сокровища открыл – пей, ешь и веселись! А ты как обо мне полагал, дружище?

– Нет, уж про меня вы, сударь, оставьте. Что бы еще-то вы сделали, кабы богаты были?

– Во-первых, сейчас бы штучку себе завел. В Курске ходил я к владычице молебен служить, так одну видел... ах, хороша штучка! Верить ли, ни одной-то минуты не было, чтоб она спокойно на месте постояла!

– А может, она бы в штучки-то и не пошла?

– А деньги на что! презренный металл на что? Мало ста тысяч – двести бери! Я, брат, коли при деньгах, ничего не пожалею, только чтоб в свое удовольствие пожить! Я, признаться сказать, ей и в ту пору через ефрейтора три целковеньких посулил – пять, бестия, запросила!

– А пяти-то, видно, не случилось?

– И не знаю, брат, как сказать. Говорю тебе: все словно как во сне видел. Может, она даже и была у меня, да я забыл. Всю дорогу, целых два месяца – ничего не помню! А с тобой, видно, этого не случилось?

Но Иван Михайлыч молчит. Степан Владимырьч вглядывается и убеждается, что спутник его мерно кивает головой и по временам, когда касается носом чуть не колен, как-то нелепо вздрагивает и опять начинает кивать в такт.

– Эхма! – говорит он, – уж и укачало тебя! на боковую просишься! Разжирел ты, брат, на чаях да на харчах-то трактирных! А у меня так и сна нет! нет у меня сна – да и шабаш! Что бы теперь, однако ж, какую бы штуkenцию предпринять! Разве вот от плода сего виноградного...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.